

ЮРИЙ ОЛЕША



от рассказ о том, как я с ним познакомился.

Я помню, открываются какие-то двери (это происходит в 1918 году, в Одессе, у одного из местных меценатов, который пригласил нас, группу молодых одесских поэтов, для встречи с недавно прибывшими в наш город петербургскими литераторами, в том числе и с Алексеем Толстым), и в раме этих дверей, как в раме картины, стоит целая толпа знаменитых людей. Тотчас же я узнаю Толстого по портрету Бакста. Это он, он! Надо сказать, что наша группа (в ней, между прочим, среди других начинали также и такие впоследствии крупные деятели советской литературы, как Эдуард Багрицкий и Валентин Катаев) относилась к Алексею Толстому слож-

но: он не мог, разумеется, не вызывать в нас восхищения, однако в то время, как восхищение наше, скажем, Бунным или Александром Блоком было чистым, восхищаться Алексеем Толстым — писателем, вошедшим в литературу позже, чем названные, — мешало нам как раз то рассуждение, что вот, мол, не слишком старше нас, а смотрите, как уже знаменит... Словом, мы восхищались Алексеем Толстым именно так, как восхищаются старшим братом, — не без оттенка некоторого раздражения, некоторой зависти. При такой предпосылке, естественно, могло бы случиться и так, что мы встретили бы его со сдержанностью... Но нет, я смотрю на товарищей и вижу на их лицах радость! Ну конечно же, поскольку мы и всегда в глубине души понимали, что глупо ставить себя — начинающих! — на один уровень с автором «Хромого барина» и «Заволжских рассказов», то теперь, когда он появился перед нами во всем своем очаровании, эта наша мальчишеская заносчивость улетучилась мгновенно!

Так вот какой он! Эта наружность кажется странной — может быть, даже чуть комической. Тогда почему же он не откажется хотя бы от такого способа носить волосы — отброшенными назад и круто обрубленными над ушами? Ведь это делает его лицо, и без того упитанное, прямо-таки по-толстяцки округлым! Также мог бы он и не снимать на такой длительный срок пенсне (уже давно пора надеть, а он все держит его в несколько отведенной в сторону руке) — ведь видно же, что ему трудно без пенсне: так трудно, что переносицей его даже завладевает тик! Странно, зачем он это делает? И вдруг понимаешь: да ведь он это нарочно! Ловишь переглядывание между ним и друзьями... Да, да, безусловно так: он стилизует эту едва намеченную в его облике комичность! Развлекая и себя и друзей, он кого-то играет. Кого? Не Пьера ли Безухова? Может быть! А не показывает ли он нам, как должен выглядеть один из тех чудаков помещиков, о которых он пишет?

— Толстой! — представляется он первому из нас, кто к нему поближе.

Представляется следующему:

— Толстой!

И дальше:

— Толстой! Толстой! Толстой!

Мы — южане, и мы еще никогда не слышали такого выговора. Впечатление настолько сильное, что тут же им хочется поделиться... Я ищу руку соседа, вот она уже в моей (как видно, и он искал мою!), и следует рукопожатие, как бы говорящее: «Да, да, еще бы! Я в восторге! А ты?»

— Толстой! — льется музыка русской речи. — Толстой! Гляди, Амари, кошка у аквариума!

Пока гонят кошку, мы с жадностью рассматриваем того, к кому он обратился. Он вошел вместе с ним, этот Амари. Кто он? Амари!¹ Это что же — фамилия? Имя?

— Миллионер, — произносит кто-то поблизости шепотом.

— Миллионер? — переспрашивает кто-то довольно громко, не то не поняв, не то в ошеломлении от того, что видит миллионера.

Его толкают под бок — тише, мол, что ты! Лицо миллионера поворачивается на шум и на некоторое время становится нам, стоящим в этом месте (в том числе и мне), хорошо видным. Попад в зеленый отблеск абажура, оно и само приобретает зеленую окраску, а так как это лицо с обвисшими на краях, как у викинга, усами красиво, то, став зеленым, оно не стало смешным, а, наоборот, жутким, — казалось, что медленно погружается на дно утопающий. Что ж, не далек срок, когда они и в самом деле погрузятся на дно — русские миллионеры!

— А это Тэффи! — сообщает один из нас.

— Тэффи?

— Да, да, Тэффи!

Подумать только, наше внимание настолько сосредоточено на Толстом, что мы, оказывается, равнодушно скользили взглядом даже по такой знаменитости, как писательница Тэффи! Ведь появилась она не в качестве спутницы Алексея Толстого, а сама по себе, — ого, какая это была бы сенсация! Шутка ли — сотрудница «Сатирикона» Тэффи! Ведь мы прямо-таки наизусть знаем ее превосходные (хоть написанные лишь во имя юмора, но тем не менее целиком в литературе) рассказы... Еще пишет она и стихи (гораздо ниже, разумеется, стихов ее сестры Мирры

¹ Цейтлин.

Лохвицкой). Мы и не ставим их слишком высоко, однако нам нравятся такие, например, строки:

Три юных пажа покидали
Навеки свой берег родной,
В глазах у них слезы стояли,
И горек был ветер морской.

Конечно, все это дилетантизм: «покидали — стояли», «родной — морской», «пажи», «слезы», — но поскольку мы молодые, то нам приятно иногда просто погрузиться.

Вскоре покинет «свой берег родной» и сама Тэффи!

— Ну что ж, господа, — раздается голос хозяина дома, — решайте сами: сейчас чтение или после ужина?

И вот длинный стол ужина, трилистники петрушки на заливных, — и так много нас, молодых и не слишком часто сытых поэтов, пришло на ужин, что некуда деть локти... То и дело Толстой, видим мы, наклоняется к сидящей рядом его юной жене, поэтессе Наталье Крандиевской, и что-то говорит ей. Это о нас, конечно. Вот он посмотрел на меня и что-то сказал. О, если бы знать — что! Безусловно, мы ему нравимся. И верно: как может не понравиться поэту и писателю, например, Багрицкий с его выражающейся во всем облике вдохновенностью, с его сверкающими поистине как звезды глазами, с его мощными высказываниями о поэзии, которые сквозь пиршественный гул все же доносятся до гостя? Как может не понравиться Адалис с ее молчанием и улыбкой какой-то странной статуи? Или Катаев с его градом острот?

Как может не понравиться Юрий Олеша, который... Вот как раз Юрий Олеша и прозалился!

Я тогда написал цикл стихов на темы пушкинских произведений — с десяток вещиц, каждая из которых являлась своего рода иллюстрацией к тому или иному произведению: одна к «Пиковой даме» (стихотворение так и называлось — «Пиковая дама», и в нем изображалось, как Германн входит в зал, где сейчас проиграет), другая — к «Каменному гостю» (как статуя командора покидает кладбище), третья — к «Моцарту и Сальери» (описывается наружность Сальери). Они у меня не сохранились, эти юношеские стихи; и в памяти лежит только несколько обломков. Это было не совсем плохо! Например, в стихотворении, посвященном изображению самого Пушкина,

сказано о цилиндре, в котором ходил поэт, что он смешной, а плащ поэта назван крылатым...

...в плаще крылатом,
В смешном цилиндре тень твоя!

Также в этом стихотворении есть строки, в которых автор грустит по поводу того, что не может «согреть своим дыханием»

Его хладеющие руки
На окровавленном снегу!

Впрочем, «хладеющие руки» взято из самого Пушкина: «Для берегов отчизны дальной...» Так в том-то и дело, что эти стихи были далеко не совершенными, а я, упоенный признанием товарищей и одесских критиков (один из них даже дал моему циклу выпренное название — «Пушкиниана»), считал их совершенными! Вот Толстой и свернул голову этой цыплячьей упоенности.

Сейчас я расскажу, как это произошло, но сперва пусть ликует воспоминание о том, как восхищенно слушал Алексей Толстой стихи моих товарищей. Багрицкий прочел своего прославленного «Суворова», Валентин Катаев «Три сонета о любви...»; Адалис выступила с тем, что представлялось ей подражанием древней поэзии, а на самом деле просто с превосходными стихами, отмеченными необыкновенной, даже неожиданной для начинающего поэта точностью слова; Борис Бобович — с его отточенным «Казбеком»; Зинаида Шишова, как и Катаев, тоже со стихами о любви, только более трагическими.

— Наташа, а? — слышалось из уст Толстого после каждого выступления. — Здорово!

Наташу я помню с серьезностью аплодирующей.

— Амари, а?

Как все усатые люди, Амари выражал одобрение именно пощипыванием уса.

Пока Толстой общался со своими, переглядывались также и мы. «Да, да, — прочитывали мы в горящих взглядах друг друга, — мы показали себя старшему брату, показали!»

И вот, сберегаемый со своей «Пушкинианой» под конец — так сказать, для апофеоза, — собираюсь приступить к чтению и я. Товарищи выкликают мою фамилию особен-

но оживленно, и на некоторое время становится так бес­порядочно шумно, что Толстой, видим мы, перестает по­нимать, что, собственно, происходит.

— Это Олеша! — раздается со всех сторон. — Олеша!

— Читай «Пушкиниану»!

— «Пушкиниану»!

Я решил начать как раз с «Пиковой дамы» — стихотво­рения, которое было признано всеми как лучшее в цик­ле. В первой строфе его приводилось описание зала, где происходит карточная игра. Самой строфы не помню, но обломок — вот он:

Шеренга слуг стоит, и свечи
Коптят амуров в потолке.

То есть я нажимал в этих строках на то, что вот, мол, хоть зал и наряден, но так как главное здесь — страсть, игра, то, несмотря на нарядность, в зале все же господст­вует запустение: лепные украшения потолка закопчены.

Итак, я продекламировал:

Шеренга слуг стоит, и свечи
Коптят амуров в потолке.

Кто находился когда-либо в обществе Алексея Толсто­го, тому, разумеется, среди многих вызывавших симпатию черт этого непревзойденно привлекательного человека, в особенности не мог не понравиться его смех — вернее, ма­нера реагировать на смешное: некий короткий носовой и — я сравню грубо, но так сравнивали все знавшие Тол­стого — похожий на хрюканье звук. Да, правда, именно так и происходило: когда при нем произносилась кем-ли­бо смешная реплика, Толстой вынимал изо рта вечную свою трубку, смотрел секунду на автора реплики, молча и мигая, а потом издавал это знаменитое свое хрюканье. И это было настолько, выражаясь театральным языком, «в образе», настолько было «своим», что когда мы слы­шали смех Толстого, видели его смеющимся, то как раз в эти мгновения мы, может быть реальней, чем когда-либо, ощущали его неповторимость.

Не успели прозвучать строки об амурах, которых коп­тят свечи, как Толстой хрюкнул.

Все, конечно, услышали это. Все, конечно, увидели, как, вынув изо рта трубку, он смотрит на меня мигая.

— То есть как это «коптят амуров»? — спросил он. — Как с окороками это делают, что ли?

— Почему с окороками? — спросил я обиженно.

— Надо было сказать — «закапчивают» или «покрывают копотью». А «коптят амуров» — это получается, что копченые амурь.

Первым из нас захохотал наиболее среди нас чувствующавший юмор Катаев. В следующую минуту хохотали уже все...

— Не обижайся! — слышу я голоса товарищей. — Алексей Николаевич прав!

Я тоже знаю, что прав, но чересчур уж ошеломительно падение с высоты. Боже мой, «копченые амурь»... И это мне, которого окружили музыкой таких «красивых» слов, как «Пушкиннана»!

— А по-моему, — начинаю я оправдываться, — если...

— Брось! Брось! — кричит Багрицкий. — Неграмотно! Позор, что мы сами этого не заметили! Брось!

Может быть, я выбежал бы из зала, если бы не случилось того, что случилось: вдруг прозвучала обращенная ко мне реплика Толстого, которую он произнес с какой-то необыкновенно товарищеской интонацией:

— Нет, правда, Олеша, ведь черт знает что — копченые амурь!

Уже одно то, что он так скоро постигнул мою трудную фамилию, переполняет меня радостью, — а тут еще эта товарищеская интонация в обращении ко мне знаменитого и так нравящегося мне писателя... О, ни следа не осталось от обиды, ни следа!

— Ведь черт знает что, а?

И я соглашаюсь, что действительно черт знает что.

«Да, но как я буду жить дальше, подшибленный критикой не больше, не меньше, как Алексея Толстого?» — проносится у меня в мыслях.

— Сколько раз я и у себя замечаю подобные ляпсусы, — говорит Толстой, как бы читая мои мысли. — У-у, как внимательно надо работать! Вот вы, я вижу, считаете меня мэтром. А я чувствую себя учеником. Ни вы, Олеша, не мэтр, ни я не мэтр. Ведь вам иногда приходит в голову, что вы мэтр?

Опять смех: правда, я иногда думаю, что я мэтр!

— Вот видите. А мы все только ученики.

Последовала пауза, Толстой задумался на мгновение... и затем мы услышали удивительное признание.

— Послушайте,— сказал Толстой,— когда я подхожу к столу, на котором лист бумаги, у меня такое ощущение, как будто я никогда ничего не писал; мне страшно — такое ощущение, как будто придется сесть писать впервые. А ведь я уже выпустил несколько книг, кое-какая техника у меня уже выработана... Нет, белый лист меня все же пугает! Как я буду писать, думаю я, ведь я же не умею! Вот видите, а вам кажется: мэтр! Ну, ладно, я вас перебил, извините. Читайте дальше.

С какой легкостью и, как это ни странно, с какой уверенностью в себе стал я теперь читать, чувствуя себя уже не мастером, а учеником!

Такова была моя первая встреча с Алексеем Толстым, во многом решившая мою литературную судьбу, так как она призвала меня к очень строгому контролю по отношению к самому себе. Передо мной время от времени встает такой образ (видеть который не мешало бы каждому молодому писателю): вот он, Алексей Толстой, подходит к белеющему листу бумаги — со своей трубкой в чуть отведенной в сторону руке, мигая и со сжатым ртом... Тревога на его лице! Почему тревога? Потому что он не уверен, умеет ли он писать!

Это он не уверен — Алексей Толстой, умевший создавать то, что история относит к чудесам литературы!

Особенным свойством великих мастеров эпоса является умение сообщать изображаемому подлинность. У Алексея Толстого подлинность просто магическая, просто колдовская!

У меня нет, например, нужды открывать книгу, искать те страницы, на которых изложена сцена пребывания Петра и Меншикова в гостях у немецких принцесс... Достаточно мне вспомнить о ней, как она появляется передо мной, стоит в трепсте свечей, в сиянии летнего вечера, входящего в зал через раскрытые из сада двери. Я ощущаю всем существом молодость двух героев и смятение

двух кокеток, которые хоть и боятся этих двух «варваров», но вместе с тем хотят им понравиться.

Также не надо мне открывать книгу, чтобы увидеть Петра со свитой, когда, после кутежа, они прибывают на место казни женщины, убившей мужа... Женщина запана в землю по шею, и только голова, еще живая, торчит над землей. Горят факелы, блестят позументы мундиров, и голова, говорит Толстой, смотрит на Петра с ненавистью.

Едва я подумаю «Алексей Толстой», как встают одна за другой картины созданного им мира, настолько подлинного, настолько реального, что даже в голову не приходит, что он создан из строчек; нет, он существует — вот он, рядом! Почти задевает меня плечом мальчик из челяди какого-то боярина, пробегающий по двору в белой рубахе с заплатой из красной материи под мышкой; почти наезжает на меня едущий на велосипеде Махно с патлами длинных волос под гимназической фуражкой; почти рядом шагаю я с тем кроваво-вдохновенным юношей, который ведет снятую с поезда анархистами Катю Рощину; почти дышит на меня толстый махновский палач Левка Задов; почти больно мне от пощечины, которую наносит Петр коменданту взятой крепости Горну...

Из чего рождается это чудо литературы — подлинность? Школьным оказался бы ответ, что его создают детали (красная заплатка в сцене из «Петра Первого»)... Может быть, из смелого комбинирования жизненных впечатлений, взятых из самых разных, далеко отстоящих друг от друга областей памяти? Ведь трудно же, например, читая, как появляется Багратион на обеде в английском клубе с только что, как говорит Л. Н. Толстой, подстриженными бакенбардами и с изменившейся от этого в невыгодную сторону наружностью, не предположить, что в данном случае автор «Войны и мира» соединяет с образом исторического лица именно живое воспоминание о подстригшемся знакомом... Вероятней всего, так оно и есть: подлинность рождается как результат скрещения многих жизненных воспоминаний. Однако еще правильней будет отнести это свойство за счет самого дара мастера: они так умеют, потому что умеют!

Читатель ждет воспоминаний об Алексее Толстом и может сказать, что я пишу сейчас не воспоминание, а кри-

тику. Нет, за этой критикой таится воспоминание. Когда мне случалось быть в его обществе, то какая бы ни была обстановка — в редакции ли, в гостях ли, на театральной ли премьере,— сознание мое совершало как бы двойную работу: одна его сторона участвовала, скажем, в разговоре, воспринимала Толстого как знакомого, как собеседника,— а другая сторона в это время заставляла меня испытывать ощущение, которое можно определить только одним словом — дивиться. Да, я дивился ему! Кто это передо мной? Человек, который создает вымышленный, но подлинный мир,— передо мной гениальный художник!

Вот наиболее дорогое для меня воспоминание о нем.

Сейчас не могу вспомнить, каким образом и почему, но случилось так, что мы остались с ним вдвоем в какой-то красивой просторной комнате с большими окнами, за которыми гасла необъятная, как всегда в Ленинграде, заря.

Да, да, это Ленинград... И вернее всего, я просто в гостях у Толстого. Мы только что пообедали, в руках у него чашка кофе, которую он не просто держит, а держит с той особой выразительностью, с какой он совершает все действия: чашка, вижу я, перестает быть вещью — сейчас это какой-то крохотный персонаж в сцене питья им кофе, в сцене нашего разговора с ним. Так у него происходило и с трубкой, и с пенсне, и с появившимся из кармана автоматическим пером,— вкус к жизни, чувственное восприятие мира, великолепная фантазия, юмор сказывались и в том, что, орудуя вещами, он их оживлял. Во всяком случае, увидев его, нельзя было не рассказать на другой день между прочим и о том, как он закуривал, или заводил часы, или надевал шляпу.

Итак, мы только вдвоем с ним в одной из тех прекрасных ленинградских комнат, которые особенно характерны своими окнами — прямо-таки шедеврами строительного искусства — с их тонкими, как бы позолоченными переплетами и стеклом чуть не во все небо. Тем больше находишь в этих окнах прелести, что ведь и Пушкин, думаешь, смотрел в них...

— Слушай,— говорит вдруг Толстой,— у меня есть один замысел. Рассказать?

В дальнейшем я выслушиваю историю о том, как он, Толстой, будучи ребенком, прочел некую повесть о деревянном человечке — кукле, извлеченной старым мастером из полена и отправившейся затем в странствие, полное приключений. Повесть произвела на него очень сильное впечатление, очень понравилась; но произошло так, что книга сразу же куда-то запропастилась, и поэтому вернуться к книге еще раз он, маленький Толстой, уже не мог. А он мечтал о том, чтобы прочесть ее товарищам.

— Тогда я стал ее пересказывать по-своему. Каждый раз что-нибудь добавлял. Стала получаться какая-то новая история... Так вот слушай, что я хочу сделать. Написать книгу о приключениях деревянного человечка, причем объяснить читателю, что в данном случае я именно вспоминаю прочитанное и забытое... Что ты скажешь? Помоему, это хороший прием.

Я отвечаю каким-то «да, да, великолепно!» или «очень хорошо!». В общении с выходящими из ряда писателями всегда чувствуешь скованность, причину которой, кстати говоря, и объяснить не так легко: то ли мешает тебе быть оживленным скромность, то ли, наоборот, здесь играет роль самолюбие: боишься показаться твоему необычному собеседнику смешным или неумным! Впрочем, подобное переживание, возможно, свойственно только мне... Как бы там ни было, но эта скованность помешала мне сказать и Горькому, и Маяковскому, и Алексею Толстому те слова, которые, оставшись невысказанными, теперь наполняют меня сожалением, что я был с этими людьми в недостаточно серьезном общении.

Вот и теперь я отделался ничего не значащим одобрением, вместо того чтобы высказаться так, как мне хотелось. А мне хотелось оценить замысел, которым со мной только что поделились, как замысел, конечно, лукавый, поскольку все же автор собирается строить свое произведение на чужой основе, — и вместе с тем как замысел оригинальный, прелестный, поскольку заимствование будет иметь форму поисков чужого сюжета в воспоминании, и от этого факт заимствования приобретет ценность подлинного изобретения.

— Слушай, я придумал, что когда деревянный человечек во время своих странствий встретится с кукольным театром, то куклы сразу узнают деревянного человечка.

Хоть они видят его и впервые, но так как и они куклы и он кукла, то им ничего не стоит его узнать; они узнают, зовут его по имени, окружают его — такие же, как и он, деревянные человечки!

Трубка изо рта вынута, он смотрит на меня мигая.

— А? Сразу же узнаёт его и зовут по имени!

«О, мой дорогой,— думаю я,— тебе есть дело и до кукол! Какая огромная в тебе сила творчества!»

Проклятая скованность мешает мне произнести это... Но ведь он и не для того импровизирует сейчас передо мной, чтобы услышать мою похвалу: он просто не в состоянии не выпустить на волю хоть на короткий срок толпящиеся в нем образы!

Я назвал это воспоминание об Алексее Толстом наиболее для меня дорогим. И правда: какое переживание может быть для человека, работающего в искусстве, выше того, которое дается ему судьбой вот в таком виде: признанный мастер делится с тобой своим замыслом!